

Артур Соломонов ¶ Театральная история

НОС

Москва 2013



УДК 82-31:792
ББК 84(2Рос=Рус)-44:85.33
С60

Оформление Андрей Шелютто, Ирина Чекмарева

Редактор Мария Ноэль

Соломонов А.

С60 Театральная история / Артур Соломонов. – М.: НоС,
Альпина нон-фикшн, 2013. – 432 с.

Неудачливому актеру знаменитого театра снится сон: он назначен на роль Джульетты. Вскоре, впервые за долгие годы службы, режиссер вызывает его для важного разговора. Так начинаются полные юмора и печали приключения главного героя, в которых примут участие священники и режиссеры, журналисты и артисты, красивые женщины, олигархи и домашние коты.

Действие разворачивается в прославленном московском театре и в одном из православных храмов. За власть над публикой и паствой борются режиссер и священник. Мир театра – смешной и трагичный – в романе показан как символ современного общества: артистов поглощают тщеславие и жажда самореализации; журналисты заняты поиском чего угодно, кроме правды; священнослужитель плетет интриги и вступает в альянс с «сильными мира сего». Но в театре кипят и другие страсти: сюжетная основа книги – непредсказуемая и драматичная история любви. В «Театральной истории» сплетаются смелая социальная сатира и глубокий психологический анализ, яркий юмор и захватывающий сюжет. Роман Артура Соломонова актуален, как сегодняшние новости, но его герои в той же степени принадлежат литературе, в какой и жизни

УДК 82-31:792
ББК 84(2Рос=Рус)-44:85.33

Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена или использована без письменного разрешения правообладателя.

ISBN 978-5-91671-260-5

© А. Соломонов, 2011
© НоС, 2013

Наверное, со времен Шекспира жизнь стала еще более похожей на театр, еще более яркой и непредсказуемой. Все герои этого романа — будь то актеры, священники или олигархи — пытаются найти себя, реализовать себя, но это так непросто... Так много мишуры вокруг и внутри... Но кто-то решается, делает шаг — прочь от суеты

— Эдуард Бояков, руководитель «Политеатра»

Автор высказывает мысли, достойные Достоевского. Герои романа обладают огромным внутренним напряжением

— Е. Чуприна, член жюри премии «Национальный бестселлер»

Если одно из свойств писательского дара — пророчество, то автор романа «Театральная история» Артур Соломонов обладает им сполна. Вторжение Церкви, ее иерархов в светскую жизнь. Роль денег и зависимость от денег в культурной жизни, в частности, театральной. Автор бесстрашно открывает закипающий котел, в котором удивительным образом заваривается история страстей и страхов, желаний и вожделий. И, конечно, это роман о любви, такой, какая она возможна в предлагаемых обстоятельствах: чувственная и романтическая, безответная, безответственная, настоящая

— В. Харитонов, член жюри премии «Большая книга»

Как прекрасно, когда появляются новые таланты, которые говорят новое слово

— Виктория Токарева, писатель

*Я благодарен Марии Ноэль за поддержку и вдохновение
Без нее книга не была бы завершена и издана*

*Я благодарен людям, которые мне помогли и поддерживали:
Наталье Алексеевне Соломоновой, Петру Яковлевичу Гонтмахеру,
Николаю Александрову, Валерии Ахметьевой, Эдуарду Боякову,
Армине Багдасарян, Леониду Бахнову, Майе Волчек, Леле Власенко,
Наталии Гридневой, Наталье Игруновой, Наталье Кадырматовой,
Андрею Колесникову, Кате Колльманн, Михаилу Калинин, Марине Левен,
отцу Никанору Лепешеву, Владимиру Мирзоеву, Юлии Моховой,
Алене Олейниковой, Екатерине Панченко, Наталье Саниной,
Евгению Синевич, Ирине Соболевской, Марине и Степану Скориковым,
Антону Савельеву, Наталье Ступаковой, Кириллу Серебренникову,
Виктории Токаревой, Зое Световой, Инне Харитоновой,
Владимиру Харитонову, Любови Цукановой, Виктору Шендеровичу,
Андрею Шелютто, Елене Шевцовой, Ирине Чекмаревой,
Евгению Чуприной, Александру Эбаноидзе,
а также
Владимиру Жаворонкову,
лично Павлу Подкосову и коллективу издательства
«Альпина нон-фикшн»*

Артур Соломонов



Будильник кукарекнул — и сон погас.

Лицо Александра изобразила недовольная гримаса. Он уже давно собирался сменить звук будильника, но каждый вечер забывал это сделать. А потому утром его неизменно будил хрипловатый приплатненный петух.

Мобильный мерцал и кукарекал все громче, все настойчивей. Александр протянул руку к тумбочке. Прошептал в полусонной ярости: «Заткни уже... поганые свои трели...» — и вырубил петуха. Попытался вернуться в сон. Но путь был закрыт. Тогда он решил избавиться, наконец, от утренних петушиных воплей. Приоткрыл левый глаз («пусть правый еще немного поспит») и, брезгливо прищуриваясь, зашел в «настройки». На экране появились какие-то значки. Каждый требовал внимания. Осмысленного подхода. Точной реакции.

Александр засунул телефон под подушку. «Успеется, я все равно пока еще в полусне-е-е, — протянул он. — И лучше бы сон продолжался...» В этом волшебном сновидении он стоял на бездонной и бескрайней сцене и декламировал Шекспира. Он закончил монолог, и наступила пауза. Та самая, боготворимая артистами всего мира пауза, когда зрители, потрясенные увиденным и услышанным, еще не имеют сил, чтобы выразить восторг. Наконец пауза истощила свое величие, и со всех сторон раздалось безбрежное «бра-а-а-во-о!».

Невидимая публика любила его пламенно. Александра не смутило, что он декламировал в темноту колоссального зрительного зала слова Джульетты, а не монологи Гамлета. Роль принца Датского он любил, о ней мечтал, и разве с актерами бывает иначе? «Мало ли почему я во сне женскую роль

исполнял... — Он обвел потолок мутными от сна глазами. — Все равно, как было приятно!»

Контраст сна с реальным положением вещей был разительным. Александр, актер амбициозный, годами жил в тени своих успешных коллег. Слава снисходила только во сне, а явь была пронизана ощущением тотального, бескрайнего неуспеха.

Александр приподнял одеяло. Не увидел под ним ничего вдохновляющего. Опустил руки со вздохом. Заметил: из-под одеяла выглянула пятка. Вид голой одинокой пяты привел артиста в уныние. Он оглядел свою спальню, сотворенную из икейской мебели, — спальню, имевшую в Москве, да и в любом городе тысячи близнецов. Александр медленно поднялся с кровати и подошел к окну. Приготовился распахнуть свой «домашний занавес» — так он называл пестрые занавески, на которых конфликтовали кричаще-яркие цвета: красный, оранжевый, светло-зеленый. Резким взмахом раскрыл их и выглянул в окно. Разгорался летний день. Пейзаж за окном был совершенно равнодушен к актеру: погасший в четыре утра фонарь, облупившиеся скамейки, бредущая тихим шагом старуха, открывающий дверь машины краснолицый мужик.

Александр явился людям, но ничто не изменилось, никто не изумился. «Быть или не быть — вот в чем вопрос», — прошептал он равнодушным законным зрителям. И негромко засмеялся: «Так вот потихонечку я и сойду с ума без ролей».

Актер снова лег на кровать и прикрыл глаза. Повернулся на бок и тихонько застонал: начинался новый день, который, невзирая на пение птиц, яркость занавесок и солнца, не принесет ничего, кроме разочарований.

Александр стонал все художественнее: ритм то учащался, то замедлялся, стоны были то тихими и печальными, то обвинительными и мощными, и даже в паузах таилась скорбь. Так складывалась мелодия страдания, которая утешала Александра.

Артист занимался художественным стоном около часа. Стонал он на юго-западе Москвы, в своей однокомнатной

квартире. А в это время на северо-востоке того же города, в квартире побольше, решался вопрос поистине трагический, вопрос жизни и смерти: быть или не быть тому, кто (если все обойдется) станет ближайшим другом Александра.

— Ты прав. Этого делать нельзя, — сказала Варвара Николаевна, женщина пятидесяти двух лет, суровая и полноватая. Решение далось ей нелегко. Синяки под глазами свидетельствовали: эта ночь проведена без сна. — Но все ж таки, — добавила она, как всегда растягивая слова в моменты огорчения, — это настоящая катастрофа для меня.

В комнате, кроме кошки Аделаиды, в просторечии Ады, сидел Андрей Семенович, муж Варвары Николаевны, и смотрел на супругу со страхом и восхищением.

— Я знал, Варенька, я знал, что ты не станешь... не станешь... подвергать ее... такому... такому кошмару... Аборт — самое ужасное, что может быть...

— Видимо, — глаза супруги полыхнули злобой, — ты богат. Но почему же я об этом ничего не знаю?

— Я богат? — насторожился муж. — Так и я об этом ничего не знаю.

— Раз ты так легко отказываешься от породистого приплода — ты богат.

— Варенька, клянусь, в следующий раз...

— Я тебе ее не доверю больше! И думать забудь! Завтра к нам должны были принести Якоба, завтра! Ты хоть помнишь об этом?

— Да, я виноват, виноват... Но вдруг наша Адочка его бы не полюбила?

— С чего ты это взял? Ты зоолог?

— Нет, — тихо, виновно сказал он.

— Ты сердцевед?

— Нет, — еще тише, еще виновнее молвил Андрей Семенович.

— Вот именно. А я уверена: Ада полюбила бы Якоба! — победно сказала Варвара Николаевна, но ее радость длилась лишь секунду. — И через три месяца мы бы уже продавали котят!.. Полюбила бы, продавали бы, — добавила она, укоризненно нажимая на частицу «бы». — А с этими — что прикажешь делать? Сам топить их будешь?

От ярости ее ноздри раздулись. Муж знал, что за этим, как он его называл, «жестом носа», может последовать новый этап головомойки, которая с короткими передышками продолжалась с тех пор, как он признался в своем преступлении. Он недоглядел. Две недели назад, прогуливая на поводке их любимицу, он недоглядел. И чистопородная кошка Аделаида, приплода от которой ждали элитарные московские семьи (котята были распроданы заранее — их ожидалось, по словам ветеринаров, не менее шести), совокупилась с безродным дворовым котом.

Любовь была молниеносной. А потому памяти Андрея Семеновича удалось сохранить только три кадра: прыжок тощего и гибкого кота Баяна; его беспородная морда — под хвостом их принцессы; и самый непристойный кадр: в его Аделаиду, окруженную почтением ветеринаров, любимицу парикмахеров, — проник дворовый кот...

К трепету перед женой (скандал будет отменным, это Андрей Семенович знал наверняка) примешивалось печальное изумление: как быстро отдалась его любимица, как легко было преодолено расстояние между высокопородистым и беспородным.

Аделаида забеременела.

Это означало, что московские семьи останутся без котят, о которых мечтали. Вздохнули глубоко старушки, всплакнули дети, но Варвара Николаевна твердо им пообещала: в следующий раз надзор будет неусыпным, и котята родятся без малейшей дворовой примеси.

А когда появились на свет те, кто был допущен в него из жалости, сердце суровой Варвары Николаевны (а могло ли быть иначе?) затрепетало от нежности. Она была счастлива, что позволила им остаться. «Ты был прав! — повторяла она мужу, глядя на котят. — Этого делать было нельзя!»

Варвара Николаевна с невероятной энергией стала рассовывать котят в хорошие руки. Муж помогал ей, чем заслужил окончательное прощение. На его счету была самая удачная сделка: он за большие деньги всучил полупородистое животное актеру, который за месяц до этого внес залог за тварь королевских кровей.

Это был тот самый, успешный в своих снах артист. Андрей Семенович убедил его, что всякая смесь — в чувствах ли, в людях ли — крепче и интереснее, чем нечто однозначное. Аргумент подействовал на актера. Он взял черно-белое животное на руки, слегка подбросил (котенок хрипло мяукнул от ужаса) и сказал что-то многозначительное насчет легкости, тяжести и Милана Кундеры. Андрей Семенович не очень понял, но кивнул одобрительно. Особенно актера тронуло, что котенок (как и его братья-сестры), еще будучи зародышем, едва не пал от руки ветеринара, делающего аборт. Артист сообщил, что видит мистическую связь между своей судьбой и судьбой котенка. Услышав такое признание, Андрей Семенович стал вежливо прощаться. Пересчитав за дверью деньги, он изумился и своей проворности, и некоторой — необременительной и даже слегка обаятельной — неадекватности артиста. «Впрочем, им на роду так написано», — подумал Андрей Семенович и поспешил к жене: объявлять о своем коммерческом триумфе.

Жизненные пути котят со смешанной кровью теряются в коридорах и комнатах московских квартир. За исключением того, которого приобрел Александр. Он назвал его Марсик и после первого же кормления стал рассказывать ему о своих бедах.

Меня, еще не рожденного, приговорили к театру

Шла первая неделя совместной жизни Марсика и артиста. Вечером Александр пришел домой из театра, накормил кота и ответил на звонок мамы: «Да-да, все в порядке, сейчас роль учить буду».

Он — стоит ли его осуждать? — скрыл от матери, что новую роль неизбежно выучит сегодня же, в тот самый день, когда ее получил. В спектакле «Дни Турбиных» ему поручили играть одного из солдат-белогвардейцев.

Подойдя к зеркалу, Александр стал репетировать, пронося то с гневом, то с насмешкой, то со смирением: «Так точно!» Исчерпав весь возможный диапазон эмоций, он загрустил. Не надо быть ясновидящим, чтобы предвидеть: эта фраза вряд ли произведет фурор в зрительном зале. Со скорбью оглядев свое отражение, он отчалил в сторону дивана, лег и стал писать в дневник, который вел очень давно, со времени первой детской обиды, когда поделиться было не с кем, а чувства переполняли и нашли наконец чернильный выход. С тех пор он усердно заносил в дневник все совершившиеся с ним события. В шкафу за книгами скрывались десятки тетрадей с откровениями Александра.

Он относился к себе предельно серьезно. Любой стакан казался ему предвестником бури. Бурлил Александр большей частью по поводу своей непризнанности и даже попытки философствовать завершал жалобами: «Вокруг меня столько людей, словно застрявших между жизнью и искусством, как будто требующих, чтобы я их досочинил, а главное — доиграл. Люди кажутся мне набросками, черновиками, которых Бог, если так можно выразиться, недотворил. Возможно, Он доверил это мне? Порой я чувствую в себе неиссякаемую

силу — это волнами поднимается мой ответ на приглашение к сотворчеству.

Но почему тогда я лишен успеха? Почему изо всех слов, которые я в течение сезона произношу со сцены, можно составить лишь один коротенький монолог, в котором будут только безликие слова: “Нет” (“Ричард III”, стражник), “Да” (“Собака на сене”, слуга), “Спасибо, я справлюсь” (“Месяц в деревне”, прохожий), “Как это вам удалось?” (“Слуга двух господ”, посетитель трактира), “Так точно” (“Дни Турбиных”, белогвардеец), и наконец, главная моя реплика, самая длинная за мою театральную жизнь: “В конце концов, в его годы это обычное дело” (“Калигула”).

Добавлю ли я к своим актерским победам хотя бы несколько предложений, где были бы — о, мечта! — прилагательные?”

Были в дневнике Александра три страницы, написанные красной ручкой. Озаглавлены пафосно: “До сотворения меня”. Александр понимал, что название не вполне точное. Но оно ему так понравилось, что он не мог от него отказаться.

Актер со священным трепетом написал о том моменте, когда его, «еще не рожденного, приговорили к театру».

До сотворения меня

«...От ярости его ноздри раздулись — он мгновенно это почувствовал.

Она с усилием сглотнула — так она делала всегда, борясь с гневом, словно пытаясь протолкнуть его куда-то вглубь, избавиться от него.

Он снова почувствовал обжигающую волну ненависти: ведь он давно знал, что этим движением она пытается подавить свое презрение к нему.

В одно мгновение они решили заговорить и высказать до дна свою ненависть, не оставить неназванной ни одну ее черную грань. Сейчас будет поставлена точка, и из комнаты, где воздух пропитан злобой, выйдут два свободных человека.

Но все случилось иначе. У нее вдруг сдавило горло, она сделала два шага к нему, обняла и приложила к плечу щекой. Он обнял ее и что-то зашептал, и через несколько минут они уже не верили, что совсем недавно ненависть была так ощутима.

— Ты прав. Этого делать нельзя, — сказала она, и когда он великодушно попытался протестовать, прикрыла его рот ладонью.

...Когда спрашивают день моего рождения, я его, конечно, называю. Но если бы я не боялся показаться дураком, я бы рассказывал о том мгновении, когда моя мать обняла отца. Тогда мне было позволено остаться.

Я, двухнедельный сгусток, заставил двух взрослых, чужих друг другу людей заключить мучительный союз. Они оба надеялись на лучшее, но очень скоро поняли: им предстоит долгое путешествие, лишённое любви.

В момент бессильной (нет, напротив, весьма сильной) ярости мой отец рассказал (нет, он это выпалил,

как пулеметную очередь из раскаленных слов) мне о том дне, когда было принято решение в мою пользу.

Когда я это услышал, мне было одиннадцать лет. Уже тогда, глядя в налившиеся яростью глаза отца, я понял, что узнал то, чего не должен был знать никогда.

Тем же вечером я спросил маму. (Дверь в комнату отца была закрыта уже несколько часов, казалось, он заперся там от стыда, сам не понимая, как мог рассказать мне об этом.) Она мыла посуду. Остановилась — я слышал, как сливается вода в жерло раковины.

— Чепуха, злобная чепуха. Как же ты довел его до такого?

И она продолжила мыть посуду, только гораздо быстрее. Мама — фанат чистоты — не замечала, сколько остается на тарелках причудливых, очертаниями похожих на медуз пятен жира. Но я-то это отметил, а через час увидел, что мать стоит у двери в комнату отца. Она стояла не меньше минуты и ушла.

Через пять лет, когда эта история овладела мной и корежила меня, и вызывала смех и презрение к обоим, и жалость к себе, и чего только не вызывала, я спросил маму снова. Момент был правильный: после вечеринки она была нетрезва и снова поругалась с отцом. Мама сказала, что оставить меня хотела она, а он сопротивлялся. Что это была минутная слабость мужчины, и что я должен простить отца.

— Ты тоже не очень-то обрадуешься, когда какая-нибудь твоя девушка сообщит, что мне, твоей матери, предстоит стать бабушкой.

И в трезвом виде мама не старалась скрыть свой феноменальный эгоизм, но эта фраза, сконструированная ее пьяным мозгом, побивала все рекорды — а их она ставила каждый день. Что из того, что я в принципе могу стать отцом — какие пустяки. Эпохальность возможного события заключалась в ее превращении в бабушку. И фраза “какая-нибудь твоя девушка” — тоже весьма типична для мамы. Моя девушка может быть только “какой-нибудь”.

Родители противоречили друг другу в одном маленьком пункте — кто был за меня, а кто против, но главного уже не отрицали. Я — человек, который существует только

благодаря тому мгновению, когда мама решила, что объятия лучше, чем вопли. Я сам — случайность...»

На этом три гневные страницы заканчивались. Внизу стояло многоточие — знак того, что проблема не осталась в прошлом. Она владеет настоящим и претендует на власть в будущем.

На следующее утро мобильному прокукарекать не удалось. Будильник был поставлен на десять, а звонок телефона раздался в полдесятого. Александр нажал кнопку ответа и услышал голос своего коллеги, актера Семена Балабанова. Он грохотал, он возмущался: «О люди! Порожденья крокодилов!» — не здороваясь, прорычал Балабанов шиллеровский текст. «Кто ж сомневается-то», — сонным голосом ответил Александр. «Ага! Тебе смешно! Так посмейся же громче! “Ромео и Джульетту” будут ставить! И кто сыграет Ромео? Кто?» — «Кто?» — тихо переспросил Александр, и получил в ответ рев: «Сергей Преображенский! Смейся теперь, паяц!»

Александр недолюбливал Балабанова — размашистые жесты, раскатистый голос, повадки провинциального трагика девятнадцатого века ему претили. Потому об откровенном разговоре с Балабановым не могло быть и речи. Александр не стал обсуждать с ним назначение. Тем более что он знал: чем больше он скажет, тем больше Семен процитирует. Причем фантазия Балабанова разбухает неимоверно. Он понесет по театру: «Утром Сашке звонил! Он в полнейшем шоке! Он упал со стула — я своими ушами слышал грохот! Упал и говорит: “Этому смерду, этому плебею, этой каракалице, этой сороконожке, этой инфузории дали роль Ромео! Я увольняюсь! Я уже уволен!”»

Во избежание подобных монологов Александр сказал сдержанно: «Я не удивлен». «И это все?» — пророкотала трубка. — «А что тут скажешь?» — «Тогда прощай!» — «Да, увидимся сегодня».

День оказался еще мрачнее, чем Александр предполагал.

Он медленно пошел в ванную — тяжелые мысли пригибали его к холодному кафельному полу. На свое отражение в зеркале он смотрел с печалью. Брился осторожно, бережно, не вполне понимая, для кого и зачем совершенствует свое лицо.

Выходя из дома, он и предположить не мог, что этот день, начавшийся так печально, станет одним из самых радостных в его жизни.

...Вечером он прибежал домой и сразу бросился к дневнику. Любовь и ненависть вышли из берегов.

«Утром мне сообщили, что роль Ромео уплыла от меня. Я был раздавлен. Смешно, но я надеялся. Судьба давала мне знаки... Но снова главную роль будет играть Сергей Преображенский — человек, которого я ненавижу с такой силой, словно он сжег мой дом, убил детей, убил само мое будущее...

Моя ненависть — существо живое, разумное (я в этом уверен) и хитрое. Она выработала стратегию выживания: когда мной овладевает ирония, она смеется вместе с ней, она совершенно согласна: да-да, само ее существование — нелепость. Но, смеющаяся, презирующая себя, она никуда не уходит. ...Какая кара страшнее всех? Быть непризнанным актером. Это когда отвергнуты не дела рук твоих, а ты сам, душа твоя и тело. Вот это тело, которое не притягивает восхищенных взглядов, не вызывает вожеления у юных поклонниц, не выделяет особых феромонов, на которые летят фотографии. И режиссеры, глядя на меня, не прищуриваются в раздумье: не пригласить ли это породистое животное в новый спектакль или фильм?

Отвергнута и душа, которая никак не может взобраться на нужную высоту и уныло плещется в лужице ненависти. Но эта лужица становится мировым океаном, когда я стою на подмостках, и все бинокли шарят по сцене в поисках моего врага, и находят, и с этого проклятого момента только ему одному дарят крупные планы. А где взять силы, чтоб вынести крики “браво”, обращенные к нему? Когда я стою на сцене, я верю: эти вопли летят из зала лишь для того, чтобы унижить меня...

И чаша переполнилась. Сегодня утром, сразу после звонка Балабанова, я принял решение. Нужно уничтожить моего врага. Того, кому я каждый день с восхищенно-преданной улыбкой (как долго я ее репетировал — это одна из моих лучших мини-ролей, но кто ее оценит?) пожимаю руку.

В нашем самом популярном спектакле, “Ричарде III”, трон взлетает вверх — и публика замирает от восторга. Мой враг часто красуется перед публикой прямо под этим королевским сиденьем. Нужно просто ослабить крепления — и подарить нашему ведущему актеру шикарный посмертный символ: он будет раздавлен собственным тронном. А зритель будет восхищен: как великолепно наш кумир играет покойника! Бездыханный, бездвижный, он получит последнюю порцию аплодисментов. Среди его смертей, продуманных с такой тщательностью, сыгранных с такой убедительностью, эта будет самой совершенной — ведь его партнером наконец-то буду я. Интересно, а его поклонники потребуют назад деньги? Каждый возвращенный билет служил бы мне утешением в тюрьме, если судьба все-таки возьмет с меня налог за своеволие.

Этот план зародился у меня дома, а донашивал я его по пути в театр. В метро я почти совсем уверовал в его осуществимость. Спасибо нашему режиссеру — он любит такие штуки, как взмывающий в небо трон, хотя прекрасно знает, как нерадивы рабочие сцены, и прекрасно знает, как я хотел сыграть Ричарда... Нет, хватит. Довольно! Раздавить! Я, случайно оставленный жить, организую своему врагу случайную смерть.

Я представил Преображенского, вальяжного, самовосторженного, источающего аромат дорогого парфюма, и меня охватило такое отвращение, что стало трудно дышать и даже пришлось остановиться. Я отдышался и пошел быстрее, с наслаждением думая, что каждый мой шаг не только приближает меня к театру, но и моего врага к смерти.

Но тут случилось непредвиденное событие, которое вышибло из меня мысль о мести. Подходя к зданию театра, я увидел, как ветер поднимает юбку девушки, что стоит у служебного входа. Я понял: мне указывают путь. Если ветер

заигрывает с ней, разве может стоять в стороне человек, который родился благодаря ненавистным взглядам и примирительному шепоту? (О значении ветра в моей жизни я надеюсь успеть рассказать.)

Я подошел к девушке и повторил ветреное хулиганство. Открылись очаровательные трусики (я эротоман — так, по крайней мере, мне говорили мои подруги). А ту великолепную часть тела, что таилась под юбкой, Тинто Брасс обязательно сделал бы главной героиней одной из своих картин. Если б только увидел.

Я был ошеломлен дерзостью своего поступка. Ошеломление смешивалось с восхищением: ветер не ошибался. Возможно, он тоже был эротоманом. Моя левая щека загорелась от удара. И сразу — правая.

— Может быть, хватит? — робко потребовал я. — Хотя за такое великолепное зрелище я готов расплачиваться пощечинами. Сколько ударов стоит увидеть вас обнаженной?

Я прикрыл глаза в ожидании новой пощечины. Но услышал смех. И задал вопрос:

— Вы знаете пьесу Андреева “Тот, кто получает пощечины”? Теперь я готов исполнить там главную роль. Что? Вы там играли? Вы тоже актриса?.. Ну в смысле... Вы ведь меня поняли, да?

...И мы обогнули фонтан, и пошли на площадь, и я ее поцеловал.

Она лгала мне, что играла в пьесе Андреева и имела успех. Я лгал ей, что получил главную роль в предстоящей премьере и начинаю репетиции. Что же произвела на свет вереница мгновений такой отменной, такой приятной лжи? Я влюбился. И — я почти уверен! — влюбилась она. И мой враг остался жить.

Сейчас — я в этом тоже уверен! — Сергей Преображенский пьет свой вечерний йогурт и ощупывает языком верхние зубы. Ведь — событие планетарного масштаба! — ему поставили пломбу! Представляю, как он актерствовал в кресле дантиста, как завывал и пытался вздеть руки к небу, мешая

врачу. Сейчас он с увлечением проводит языком экскурсию по зубному ландшафту. Он беззаботен. Он получил главную роль. Я тоже получил роль. На сцене жизни! Какую, разобрать пока не могу...»

Александр отложил ручку в сторону. Но почувствовал: сказал не все, что необходимо. «Да! Ее лицо! Ее имя!» — воскликнул он. И слова ринулись: «Ее зовут Наташа! Веснушки! Они всегда казались мне кокетливым призывом женщины мужчине: “Играй со мной!” Но ее веснушки — иные. У нее иное все! Глаза! Может, мне почудилось? Но они меняли цвет: от голубого к зеленому...»

Влюбленный Александр еще долго писал в дневник — он восхищался, надеялся и трепетал.

Он не знал, что думала Наташа до встречи с ним, во время нее и после: «Я стояла у театра, не решаясь войти. Я мечтала здесь играть и знала, что этого не случится. Ветер поднимал мою юбку, но я препятствовала ему довольно вяло — все, что он показывал, было соблазнительно, и в этом я гораздо больше уверена, чем в своем таланте. А ведь именно его я пришла показывать — талант. Помощник режиссера ждет меня за красно-серой дверью, за полированным столом. Так мне описывала эту экзаменаторско-экзаменаторскую комнату подруга, которой здесь сказали прохладное “спасибо” и закрепили его сочувственным взглядом, едва она начала читать монолог леди Макбет. Она отдалась роли, застонала: “Я младенца вскормила; знаю, как его любить: но пусть бы улыбался мне; исторгнув сосец из нежных уст его, я череп ему бы сокрушила, и...” — “Спасибо!”

Моя подруга ушла из кабинета, так и не выйдя из роли леди Макбет. Она приходила в себя (или точнее будет — возвращалась в себя) уже на скамейке около театра. Показалась, что ни говори... Мне ненавистно это дурацкое театральное слово “показываться”, хоть я и актриса. Бродим по театрам, и показываемся, и показываемся, и каждый раз кто-то квакает тебе в лицо свое “спа-сибо!”...

Вдруг чья-то рука подняла мою юбку гораздо выше и наглее ветра. И когда я хлестала наглеца по щекам, то была почти

счастлива — этот симпатичный дурак избавил меня от еще одной неудачи. Теперь я уже, как говорится (это выражение я тоже ненавижу), “не в настрое”. И “показываться” не пойду.

А потом начались поцелуи, и я подумала: как будто театр, о котором я так мечтаю и которого так боюсь, сам приблизился ко мне, пусть даже через него, который врет о своих успехах, но я-то знаю, кто он в этом театре. Мне так нравится их главный актер, Преображенский, мне кажется, я бы даже позволила своему смиренному мужу страдать из-за него, но... Меня, актрису неприметную, целует самый заурядный актер моего любимого театра, а это значит, что в мире царит гармония.

Саша порывался проводить меня, но я захотела поехать домой одна. Он горячо повторял “завтра, завтра”, засовывая в мою сумочку клочок бумаги. Я зашла в трамвай, улыбнулась ему (в моей улыбке должно было чувствоваться окончательное прощание, ведь я больше не собиралась его видеть). Когда трамвай тронулся и Саша скрылся из вида, я достала клочок бумаги. Там был — как самонадеянно! — адрес, а не телефон: “Теплый стан, Преображенская улица”.

Чем ближе трамвай подъезжал к моему дому, тем яснее я понимала, что захочу увидеть Александра, живущего на улице Преображенской...»

Сон мой был легок и бесстрашен, и даже петух не внес дисгармонию в мое утро. А когда пришла Наташа, мы не сказали друг другу ни слова, даже не было приветствий, меня понесло к ней, в нее, и мне снова казалось, что ветер помогает мне освободить ее от одежды. Задернутые занавески, нежность, переходящая в яростное желание, стон, пот, покой-сигарета, диск доиграл, пот испарился, ее волосы на моем плече, прикосновение-пробуждение, и снова яростное желание. Это была страсть. Пройдет месяц, прежде чем во мне тусклым светом загорится подозрение: похоже, это только моя страсть. Но сейчас, перебирая ее волосы после нашего второго раза, столь же ошеломительного, как и первый, я слушаю, как успокоительно звонит телефон. Мне все равно, кто пытается дозвониться, я знаю, что никто не прорвется ко мне сквозь Бетховена. Ведь на моем мобильном телефоне стоит его пьеса для фортепиано «К Элизе». Мне верится, что после такой музыки в мою жизнь не ворвется сигнал катастрофы, SOS, вопль «Ты уволен!», всхлип «Я ухожу от тебя...» или другие, столь любимые телефонами всего мира крики, зовы и причитания...

Так и случилось. Крики, зовы и причитания обходили меня стороной. Месяц! Целый месяц!

И дни потеряли имена, а время перестало исчисляться часами и тем более минутами. Оно стерлось под напором моего счастья. Страсть отпускала мои грехи — настоящие и будущие, и все заговоры прошлого теряли силу.

Ах, мое внутреннее индийское кино! Мальчиком я любил эти истории, тревожащие слезные железы. С необыкновенно прекрасными женщинами и мужчинами только двух сортов: отважно-красивыми и коварно-уродливыми. С жаждой мести

и торжеством добра. Среди гор, обдуваемые ветрами с юга-запада-востока-севера, окруженные немислимо-зеленым цветом, влюбленные танцуют страстный и целомудренный танец. Целомудренный — потому что влюбленные непоправимо одеты по причине высокой кинематографической морали. Страстный — ибо все движения полны надежды, а одеяния, кажется, вот-вот исчезнут в потоке желаний. Камера тоже пляшет вокруг них, и мелькают небо, руки, горы, губы, ступни с браслетами, смуглые запястья и снова небо. Я был уверен: через месяц после такого танца женщина почувствует, что беременна.

К чему это детское воспоминание? Просто мое счастье было столь же бесхитростно, как восторги танцующих жителей экранной Индии. И столь же неправдоподобно, как любое кинематографическое счастье. А потому оно заканчивалось, когда суровый и потный режиссер кричал в рупор, что съемки завершены.

Наша с Наташей счастливая сцена длилась — я потом подсчитал это — тридцать один день. А затем кто-то свыше рявкнул: «Стоп! Снято!» Я предпочел не расслышать, но тут громынуло уже с угрозой: «Снято!»

Как вела себя Наташа в этом месяце, в нашем месяце? Я этого совсем не помню. Мои чувства словно заслонили ее. Помню глаза, которые меняли цвет. Помню веснушки. Помню любимую ее игру — игру словами. После первой же нашей постели, когда я сказал: «Пойду приму душ», она ответила: «Как все-таки странно звучит: принимать душ. Вот подумай об этом процессе: на самом деле это душ принимает тебя». Я подумал, что в ответ на такое лучше всего неопределенно усмехнуться.

Мы нашли друг друга: не востребовавшая актриса, проявляющая столько в общем-то неуместного филологического пыла, и неуспешный актер, склонный к рефлексии. Эти достоинства нас украшали мало и еще меньше помогали. Я думаю, что развились они от беспросветной неуспешности нашей. Вот если придавить траву — она выползет-прорастет, но все равно будет какая-то убогонькая.

Наташа обворожительно поглощала бутерброд с джемом и слушала мои рассуждения.

«Я люблю сравнивать театр с религией. Думаешь, почему Франциск Ассизский называл себя “скоморохом Господа”?» — «Он не давал Богу заскучать своими подвигами и чудесами», — слизывала Наташа джем с губ и протягивала мне новый бутерброд. «Почти так, — я жестом отказывался от лакомства и продолжал: — Мне кажется, связь между актерами и монахами вот в чем: монахи производят впечатление на Бога, а мы — на публику. И публика решает, кому в ад, кому в рай. Кто бес смертен, а кто и не жил вовсе. Все подвиги у них ради Бога, а у нас — ради зала». «Ради зала — почти как ради зла», — подхватывает Наташа. И мы, сойдя с философской горы, поднимаемся на гору филологическую.

Когда я уже не помнил дней и часов, я предложил ей забеременеть от меня. Она, ничуть не смутившись, ответила: «Я знаю великолепный, чудесный роддом, в нем хочется остаться навсегда и рожать, пока есть силы! А знаешь, что я скажу, когда приду туда, беременная твоим сыном? Я спрошу: разрешите разрешиться?»

Когда я — я! — снова заговорил о ребенке (и сделал это, слава богу, в последний раз), она сказала, что ей не нравится словосочетание «детский сад»: «Послушай, как оно мерзко звучит. Словно дети зарыты ногами в землю, их поливают и ждут, когда они подрастут. Или даже начнут плодоносить».

И когда у меня вырвалось: «Хочу провести вместе всю жизнь», — она откликнулась: «Провести вместе жизнь — если вдуматься, это значит — обмануть вместе жизнь».

Что мне еще было нужно? Каких доказательств? Она жонглировала словами, давая понять, сколь ничтожно мое место в ее жизни, но я любил ее (и продолжаю!) и потому не замечал этого.

Когда она не преследовала цель намекнуть, что я слишком размахнулся, то предавалась своему любимому занятию вполне невинно. «Знаешь, что такое столица?» — мой поцелуй. «Главный город страны», — ее поцелуй. «Никак нет. Это стол женского рода», — наш поцелуй.

А потом говорила и вовсе какую-то, на мой взгляд, несуразицу, просто наслаждаясь созвучиями: «Преступник преступил предел первопрестольной».

Или, когда жара в Москве осатанела: «Знаешь, Саша, почему высокую температуру гораздо логичнее назвать низкой?» — «Почему?» — «Потому что когда она высокая, и город раскален, и плавится асфальт, а вместе с ним и люди, это — низость со стороны температуры. А значит — она низкая. Чем выше, тем ниже».

В игру включался и я: «Не понимаю, как у красивых девушек, у женщин части тела могут называться такими же именами, как у мужчин: я согласен — лодыжка, запястье, но — таз? Плотка? Как вообще у девушки может быть такая штука, как пищеварительный тракт? Их необходимо переименовать». Я давал ей пас, но она его не принимала, как профессионал, брезгующий отбивать мяч дилетанта. Но через пару дней: «Ты прав! Это какой-то женоненавистник придумал оскорбить женские и мужские тела одинаковостью имен». Я рад — я в игре: «Тогда он и мужененавистник». «Знаешь, я хотела бы жить в то время, когда создавались слова. Вот кто-то посмотрел на руку, и создал имя: пятерня! Если бы я жила в то время, я бы многое назвала по-другому».

Но пришла пора Наташе узнать, что я не только хорошо сложен, но и довольно сложен. Начал я издалека, сообщил, что считаю: между моей жизнью и существованием моего кота Марсика есть связь. «У него тоже была родовая травма. Сейчас, судя по его взъерошенному поведению, он влюбился, как и я». На эти слова она ответила улыбкой, но ничего не сказала. Однако словосочетание «родовая травма» ее заинтересовало.

Мы сидели на кухне, на низком диване, полуобнаженные. Наши тела еще не остыли от прикосновений. Я торжественно объявил:

— Начинаю экскурсию по своему внутреннему миру. Ты готова?

— Если он такой же привлекательный, как внешний...

— Не уверен... Там потемки.

— А это не опасно? Не утонем?

— Все гиблые места будем обходить стороной. Я покажу их издалека.

И я стартовал: «От ярости его ноздри раздулись»... Объятия моих родителей, которые решили, что мне — быть, и так

далее, и так далее... Я пытался представить мою родовую травму как можно страшнее и вместе с тем — изящно.

...Воспользуюсь монтажом (а вдруг мне еще доведется сыграть в кино?) и скажу просто: прошел час, пока я описывал свои родовые приключения и все последующие травмы, с ними связанные. Я говорю об этом так легко (я говорю об этом даже иронично!), потому что в присутствии Наташи эти травмы не казались мне тяжелыми. Конечно, я был почти оскорблен, когда она сказала:

— Тебя, правда, так травмировало, что они хотели... ну... хотели тебя...

— Убить? А разве это не повод хоть немного погрустить? Нет?

— Тогда полмира должно ходить в депрессии. Думаешь, все такие уж желанные? — она взяла меня за руку и посмотрела то ли нежностью, то ли с усмешкой. — Ты случайность. А я что, закономерность?

В этот момент мой взгляд упал на ее грудь, едва прикрытую полотенцем, и я подумал: такие груди не могут явиться на свет случайно. Наташе достаточно посмотреть на свое великолепное тело в зеркало, и безукоризненные пропорции убедят ее: она имеет все права на эту жизнь. Но не сказал этого: она наверняка ответит, что мысль слишком мужская. Что она к своему телу привыкла так же, как я к своему. Что красота как раз случайность, а безобразие — закономерно.

Лучше я продолжу говорить о себе. Так безопасней.

— Мне кажется, все мои неудачи оттого, что я вообще не должен существовать. Когда мне в очередной раз в театре отказывают в роли, когда я не прохожу кинопробы...

— Мерзкое слово.

— Когда, кажется, все сущее...

— Неэротичное слово.

— Наташа! Остановись!

— Тогда не говори больше «все сущее». Я не могу спать с человеком, который способен такое выговорить.

Неужели придется снабдить свою речь иронией, чтобы Наташе было проще меня понять? Да. Придется. Я же актер. Мне нужно, чтобы зритель меня понял, признал. Ради этого

я готов на интонационный и мимический компромисс. И весь последующий монолог я произношу с небрежной ухмылкой.

— Мне кажется, что мир, посылая мне неудачи со всех сторон, от людей больших и маленьких, от театров больших и малых, от киностудий крупных и карликовых, — весь мир свидетельствует: тебя, Александр, не должно быть.

Наташа молчит. Я чувствую невысказанные слова осуждения, которые она не выпускает на волю из жалости ко мне. Ей, кажется, стало легче меня слушать, когда мой тон утратил торжественность. Но все равно, я чувствую, вижу: она меня не понимает. Или хуже того: понимает, но не видит в моих словах (а значит, в моей жизни!) ничего особенного.

— Ну конечно, — злюсь я, — разве сравнится моя концепция жизни с твоим словотворчеством?

— При чем тут одно к другому, Саша?

— Это причуды, которые помогают нам справиться с жизнью. Я полагаю, что из-за моей травмы я обречен заниматься искусством. То есть все время сочинять себя, подменять кем-то другим, перевоплощаться. Чтобы запутать жизнь, которая на меня ополчилась. Повести ее по ложному следу.

— Ну, ты...

— Что я?

— Болтун. Но очень симпатичный.

Она смотрит на меня, и я чувствую, как неудержимо рвется... Боже мой, это смех! Смеются ее глаза, губы подхватывают, начинает мелко трястись грудь — и сейчас мне нет никакого дела, что она бесподобна. Результат моей откровенности катастрофичен — я ее рассмешил.

— Саша, извини...

Она продолжает смеяться, видя, как мне это неприятно. Борется с собой, чтобы смех подавить, и мне это еще неприятней!

— На тебя ополчилась жизнь? — спрашивает она. — Ты и вправду думаешь, что жизнь плетет против тебя заговоры? Посылает легионы несчастий?

Прошло минут пятнадцать и примерно столько же поцелуев. И только после этого улетучилась моя обида. Я в нерешительности: говорить ли ей про легкость и тяжесть?

Про еще один мой секрет? Про ключ, с помощью которого меня можно если не открыть, то — приоткрыть?

— Говори! — требует она. — Обещаю принять без иронии.

— Без тени иронии?

— Без тени.

— Обычно чувство легкости посещает меня, когда в лицо дует прохладный ветер. Он обдувает лицо, наполняет, как парус, рубашку, забрасывает назад волосы, и тогда та самая случайность, которая помогла мне проникнуть в этот мир, кажется мне счастливой. Теперь ты понимаешь, отчего я посчитал своим долгом устремиться вслед за ветром в тот день, когда ты стояла у театра? Почему я поднял твою юбку так смело?

— Дорогой! Ты подражал ветру!

Наташа обещала мне не иронизировать. Видимо, совладать с собой она не может. Но я дочитаю монолог до конца:

— Но очень скоро легкость снова становится тяжестью.

— Вот это жаль.

— И тогда мысль о ветре уже не может проникнуть в мою голову. Вернее, только вот в каком виде: есть в «Тысяче и одной ночи» выражение «пустить ветры». Почему-то особенно неистово этим занимаются евнухи. Ты понимаешь, о чем я?

— Неужели я бы прошла мимо такого словосочетания? Но ты уверен, что мне нужно знать все метафизически-физиологические подробности? — она явно гордится только что изобретенным словосочетанием.

— Уверен! — говорю я, хотя ни капли не уверен. — Так вот, когда тяжесть вступает в свои права, я признаю свое существование столь же оскорбительно случайным, как невольные проказы сказочных евнухов. И вызывающим такое же брезгливое удивление у окружающих.

Наташа смотрит на меня с изумлением. Видимо, не каждый ее любовник смело сравнивал себя с проказами евнухов.

Я встаю у занавесок, моих веселых занавесок, которые буйством красок радуют меня, когда мне хорошо, и угнетают, когда мне плохо. Беру в правую руку чашку и размахиваю ей, тем самым показывая ширину берегов, меж которыми протекает моя жизнь.

— От ветра, летящего с моря, до пускания ветров, — чашка летит справа налево. — От легкости — к тяжести, — чашка снова делает в воздухе полукруг — От матери — к отцу: мой маятник. Мать для меня — легкость, отец — тяжесть. Я соединяю в себе людей, которым и поговорить-то сложно. Мне порой кажется, что их конфликт продолжается во мне, что через меня проходят неутомимые боевые действия. Даже мое лицо — результат многолетней и незавершенной еще борьбы черт отца и матери.

Она просит меня продолжить объяснения. Для этого я начинаю экскурсию по своему лицу.

— Глаза — отца. — Наташа поднимается с дивана и целует их, стирая в моей памяти свои насмешки. — Губы — матери. Нос — отца, уши — матери.

Я с удовольствием продолжаю экскурсию — ведь за каждым словом следует поцелуй.

— Слушай, я не запомнила. Давай еще раз.

И снова я показываю, где след матери, а где отца, а она закрепляет мои объяснения поцелуями...

Александр, увидев, что уже полчетвертого утра, усилием воли заставил себя прекратить писать. Лег спать.

Его родители давно бы забыли о несостоявшемся аборте, если бы Александр не напоминал им о «покушении на убийство». Отец и мать Александра любили сына так, как обычно родители любят детей: не больше, но и не меньше. Оба с тревогой следили за тем, как живет Александр, но почти во всех проявлениях их любви он видел либо волю к власти над ним, либо какой-то подвох, либо желание заслужить прощение, либо попытку использовать его, их сына, как оружие в непрекращающейся супружеской битве. Ответов на вопрос «зачем они меня любят?» у Александра было много. Простых чувств (например, обычной родительской любви) он не признавал. Он был искренне убежден, что рос в атмосфере измен. И что именно это определило его сложные отношения с дамами и то, что он был предельно недоверчив и настроен на провал в личной жизни.

Мать свою Александр считал женщиной яркой и властной, а про отца писал так: «Зовут его, как и меня, Александр — в честь знаменитого полководца, воевавшего даже с индийскими слонами. Ирония всегда сопровождала моего отца, хотя он этого не замечал из-за катастрофически серьезного отношения к себе. А ведь она стала его спутницей уже в тот момент, когда ему дали имя. Ирония заключалась в оглушительном несоответствии характеров — отца и того, в чью честь он был назван. Отец не смог бы повести за собой даже отряд гномов. Он подчинился бы одному из них».

Если бы Наташа узнала, что Александр считает главным ее качеством пристрастие к игре словами, она была бы неприятно удивлена. Словесная эквилибристика была для нее лишь привычной игрой на фоне новых, захватывающих все глубже отношений. После второй встречи с Сашей она почувствовала, что хочет возвращаться к нему вновь и вновь. Домой, к мужу, она приходила «полная равнодушия». Это словосочетание ей нравилось. Поднимаясь по лестнице, она шептала, едва шевеля губами: «Это не просто полное равнодушие, это я сама — полная равнодушия, переполненная равнодушием, до краев, до удушения, до такой степени, что уже никакое это не равнодушие». Бормоча нелепые монологи, она стремилась хоть как-то облегчить создавшуюся тяжелую ситуацию, отстранить ее.

Ее семейная жизнь начала разрушаться. Порой Наташа просыпалась ночью, слушала мирное сопение супруга и уже не могла заснуть от досады: она злилась на него, всепрощающего, с таким кротким взглядом, на себя — за то, что не находит сил для решительного шага. Но ночь проходила, наступал совместный завтрак, и тишина, которую источал ее миролюбивый муж, не давала Наташе шанса сделать судьбоносный шаг. Мечтая обо всех ролях мира, завидуя всем успешным актрисам и актерам, чувствуя, что ради возможности играть на сцене она готова сделать все что угодно, Наташа вместе с тем прекрасно понимала, что единственный островок стабильности среди хаоса актерской жизни — ее кроткий муж.

Но в пределах отведенной себе свободы действовала она весьма решительно. Изменяла ли она мужу раньше?